Жатва

Год, наверное, 1942-й. (Мне, стало быть, 13 лет.) Лето, страда. Жара несусветная. И нет никакой возможности спрятаться куда-нибудь от этой жары. Рубаха на спине накалилась и, повернешься, обжигает.

Мы жнем с Сашкой Кречетовым. Сашка старше, ему лет 15–16, он сидит «на машине» – на жнейке (у нас говорили – жатка). Я – гусевым. Гусевым, это вот что: в жнейку впрягалась тройка, пара коней по бокам дышла (водила или водилины), а один, на длинной постромке, впереди, и на нем-то в седле сидел обычно парнишка моих лет, направляя пару тягловых – и, стало быть, машину – точно по срезу жнивья.

Оглушительно, с лязгом, звонко стрекочет машина, машет добела отполированными крыльями (когда смотришь на жнейку издали, кажется, кто-то заблудился в высокой ржи и зовет руками к себе); сзади стоячей полосой остается висеть золотисто-серая пыль. Едешь, и на тебя все время наплывает сухой, горячий запах спелого зерна, соломы, нагретой травы и пыли – прошлый след, хоть давешняя золотистая полоса и осела, и сзади поднимается и остается неподвижно висеть новая.

Жара жарой, но еще смертельно хочется спать: встали чуть свет, а время к обеду. Я то и дело засыпаю в седле, и тогда не приученный к этой работе мерин сворачивает в хлеб – сбивать стеблями ржи паутов с ног. Сашка орет:

– Ванька, огрею!

Бичина у него длинный – может достать. Я потихоньку матерюсь, выравниваю коня… Но сон, чудовищный, желанный сон опять гнет меня к конской гриве, и сил моих не хватает бороться с ним.

– Ванька!.. – Сашка тоже матерится. – Я сам с сиденья валюсь! У меня у самого счас кровоизлияние мозга будет! Потерпи!

– Давай хоть пять минут поспим?! – предлагаю я.

– Еще три круга – и выпрягаем.

Три огромных круга!.. А машина стрекочет и стрекочет, и размерно шагает конь, и дергает повод, и фыркает, и на голову точно масляный блин положили, и горячее масло струйками стекает под рубаху, в штаны… Там, где сидишь в седле, мокро, все остальное раскалилось, тлеет.

– А, Сань?!. А то упаду под жатку, вот увидишь!

Сашку допекло тоже; он еще немного хорохорится, поет песни, потом натягивает вожжи.

– Тр-р! Пять минут, Ванька! А то застукают.

Господи, да больше и не надо! Это и так вечность. Падаю с коня, на карачках отползаю подальше в рожь – на тот случай, если кони сами тронут, то чтоб не переехало машиной – успеваю еще подумать про это… Потом горячая, пахучая земля приникла к лицу, прижалась; в ушах еще звон жнейки, но он скоро слабеет, над головой тихо прошуршали литые, медные колоски – и все. Мир звуков сомкнулся, я отбыл в мягкую, зыбучую тишину. Еще некоторое время все тело вроде слегка покачивается, как в седле, приятно гудит кровь, потом я бестелесно куда-то плыву и испытываю блаженство. Странно, я чувствую, как я сплю – сознательно, сладко сплю. Земля стремительно мчит меня на своей груди, а я – сплю, я знаю это. Никогда больше в своей жизни я так не спал – так вот – целиком, вволю, через край.

Сколько мы спали, не знаю, только проснулся я вдруг с ощущением близкой опасности; сразу как-то, как от толчка, всплыл из глубины небытия на поверхность… Кто-то кричал… Я вскочил. Нас все же застукали: сам председатель колхоза Иван Алексеич бегал по стерне за Сашкой, но так как одна нога у председателя деревянная, то догнать Сашку, конечно, он не мог, и только издали грозил плетью и ругался. Увидев меня, председатель кинулся было за мной, но я так дернул с места, что он сразу остановился.

– Контры! Вы мне ответите!.. Садитесь жать счас же!

– Отойди от жатки, тогда сядем. – Сашке, видно, попало разок председательской плетью – он почесывал спину.

– Счас же у меня садитесь! Вы што, под статью меня подвести хочете?!

– Отойди от жатки…

Председатель, ругаясь, пошел к своему легкому коробку, который стоял в стороне.

Опять заскрипела, заскрежетала жнейка, опять наладилось жечь солнце, но теперь на душе куда легче, даже весело: малость урвали.

Председатель еще постоял немного, посмотрел на нас и уехал.

Странный он был человек, Иван Алексеич, председатель. Эта нога его – это ему давно еще, молотилкой: хотел потуже вогнать сноп под барабан, и вместе со снопом туда задернуло ногу. Пока успели скинуть со шкива приводной ремень, ногу всю изодрало зубьями барабана, потом ее отняли выше колена. Мы его нисколько не боялись, нашего председателя, хоть он страшно ругался и иногда успевал жогнуть плетью. Мы не догадывались тогда, что народ мы еще довольно зеленый, вовсю ругались по-мужичьи, и с председателем – тоже. С нами было нелегко. Как я теперь понимаю, это был человек добродушный, большого терпения и совестливости. Он жил с нами на пашне, сам починял веревочную сбрую, длинно матерился при этом… Иногда с силой бросал чиненую-перечиненую шлею, топтал ее здоровой ногой и плакал от злости.

В тот день председатель здорово насмешил нас.

Съехались мы поздно вечером к бригадному дому, расселись кто где хлебать затируху (мелкие кусочки теста, крошки, сваренные в воде). Потом должно было быть собрание: у председателя много накопилось фактов нашего безобразного поведения: кто-то еще, кроме нас с Сашкой, спал на полосе, кто-то накануне, вечером, самовольно бегал домой в баню, кто-то, дожав клин, гонялся с бичом за перепелками – терял драгоценное время…

Председатель, пока мы ужинали, застелил красным сукном длинный стол под навесом, сидел один за столом, строго поглядывал в нашу сторону – ждал: предстояла «накачка».

Мы ополоснули чашки, закурили и приготовились слушать.

– Сегодня четыре оглоеда, – начал председатель, – спали на полосе. Это Санька Кречетов, Илюха Чумазый, Ванька Попов и Васька-безотцовщина. Вы што, соображаете?! А этот верзила… Колька, я про тебя! – в баньку ему, вишь, захотелось!

(Колька, Моисеев внук, поймал у меня вчера на рубахе вшу и подговаривал вместе бежать вечером в деревню в баню, а к свету вернуться. Я отказался.)

– Попариться ему, вишь, захотелось, жеребцу! Дубина такая… Ты всю ночь-то пробегаешь туда-сюда, а днем – спать на полосе!

– Я не спал.

– Я посплю вам! Я вам посплю, дьяволы! Вы у меня ишо скирдовать в ночь будете.

Далеко, за лесом, медленно опускается в синие дымы большое красное солнце; хорошо на земле, задумчиво, покойно. Под председательским столом, свернувшись калачиком, мирно спит Борзя, наш бесконечно добрый, шалавый кобель.

Председатель никак не может разозлиться, вяло у него получается – никакого интереса. Мы клюем носами.

– Дальше: што это за моду взяли – перепелок стегать?! Живодеры… Первое: они всяких личинок уничтожают… Да время же теряете, черти! Пока ты ее догонишь да угодишь бичом – времени-то сколько уходит! Дальше: Ленька-японец наехал, сукин сын, на пенек, порвал пилу. Оглазел?! Скину вот трудодней пятнадцать, будешь вперед смотреть! Ехай счас прямо в кузню – штоб завтра, как только дед Макар проснется, пилу мне склепали.

Ленька-японец радешенек: дома побудет. Везет недомерку! Не нарочно ли на пень-то наехал? Но он хитрый, радости не показывает, а виновато хмурится.

– Дальше: еслив ишшо кого увижу…

Тут-то нанесло нежданного: на дороге, из-за взгорка, показались дрожки уполномоченного: мы хорошо знали его жеребца. К нам едет.

Эх, как вскочил тут наш председатель (он ужасно боялся уполномоченного), да как застучал кулаком по столу, как закричал:

– Я давно уж замечаю среди вас контр… контр…

А деревяшкой своей председатель наступил Борзе на хвост; Борзя взвыл блаженным голосом. Председателю надо перекричать собаку, он кричит:

– Давно уж я замечаю среди вас контрреволюционные элементы!

Собака воет, крутится под столом; председатель почему-то не может сойти с нее – то ли от волнения, то ли… бог его знает. Добрый Борзя начал кусать деревяшку; мы корчимся от смеха: до того уморительная картина. (Потом, когда мы вспоминали эту историю, Ленька-японец сознался, что у него случилась тогда посикота – написал в штаны от смеха.)

Уполномоченный подъехал. Глядит на нас, ничего не может понять.

Председатель быстро пошел навстречу ему. Ошалевший Борзя с визгом вылетел из-под стола, кинулся бежать… Да прямо в ноги райкомовскому жеребцу. Красавец жеребец дико всхрапнул, дал в дыбы – чуть из хомута не вылез. Уполномоченный выскочил из коробка; председатель поскакал было на деревяшке за Борзей, потом вернулся, стал успокаивать жеребца.

Мы все лежали вповал. Мы тоже побаивались уполномоченного, но тут ничего не могли с собой сделать – умирали от смеха.

– В чем дело?! – строго спросил уполномоченный.

– Это… собрание у нас – насчет итогов, – пояснил Иван Алексеич. – С собакой маленько комедия вышла… – И закричал на нас: – Завтра же убрать этого блохастого!..

– Я вижу, что комедия, а не собрание. Может, рано веселиться-то?! – спросил у нас уполномоченный. – Может, наоборот, плакать надо?!

Мы постепенно затихли. Вот теперь, кажется, будет «накачка» настоящая. Но уполномоченный почему-то отменил собрание. Неожиданно добрым голосом сказал:

– Ладно: поработали, посмеялись – идите спать.

Спали мы в доме на нарах. Долго еще не могли успокоиться в тот вечер, вспоминали Борзю, Ивана Алексеича, хохотали в подушки. Иван Алексеич беседовал у огонька с уполномоченным… Раза два он входил к нам и сердито шипел:

– Вы будете спать? Опять завтра не добудишься!.. Оглоеды. Хоть бы человека постеснялись.

Потом уполномоченный уехал.

Мы один за другим проваливаемся в сон…

Когда я – позже других, последним, наверно, – выхожу до ветра, уже светит луна и где-то близко вскрикивает ночная птица.

Председатель сидит у костра, тихонько звякает ложкой об алюминиевую чашку – хлебает затируху. Протез его отстегнут, лежит рядом… Худая култышка как-то неестественно белеет на траве. Иван Алексеич часто склоняется и дует на нее – видно, до боли натрудил за день, теперь она, горячая, отдыхает.

А вокруг тепло и ясно; кто-то высоко-высоко золотыми гвоздями пришил к небу

голубое полотно, и сквозь него сквозит, льется нескончаемым потоком чистый, голубовато-белый, легкий свет.

И все вскрикивает в согре какая-то ночная птица – зовет, что ли, кого?